

“ГОМЕР”

ОДИССЕЯ

СОЛЬ И ПЕПЕЛ



ОН ВЕРНУЛСЯ, ЧТОБЫ НАВЕСТИ ПОРЯДОК

РОМАН-АДАПТАЦИЯ

Гомер

ОДИССЕЯ. Соль и пепел

«Автор»

2026

Гомер

ОДИССЕЯ. Соль и пепел / Гомер — «Автор», 2026

По мотивам поэмы Гомера «Одиссея». Современная прозаическая адаптация древнего эпоса о войне, которая продолжает жить внутри человека, и о доме, который нужно отвоевать заново. Троя пала, но война не отпускает Одиссея. Двадцать лет он скитается по морю, теряя корабли и людей, а в это время его дом на Итаке захвачен женихами, требующими руки его жены. Пенелопа тянет время. Сын, выросший без отца, ищет его след. А сам Одиссей — уже не тот герой, что уходил на войну. Он вернётся, но не за славой и не за короной. Он вернётся, чтобы навести порядок в доме, где нарушен Закон Гостеприимства, и чтобы понять, можно ли после всего пережитого снова стать мужем и отцом. Роман о возвращении, которое оказывается труднее войны.

© Гомер, 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Гомер

ОДИССЕЯ. Соль и пепел

Глава

Вместо предисловия

Эта книга — попытка сделать невозможное: взять самую древнюю и самую знаменитую историю о возвращении домой и рассказать её так, как будто она случилась вчера.

«Одиссея» — это не просто поэма, которую проходят в школе и благополучно забывают. Это история о человеке, который ушёл на войну и не смог вернуться. О женщине, которая ждала его двадцать лет. О сыне, который вырос без отца. О доме, который без хозяина превращается в чужое место. Уберите из этой истории богов, чудовищ и волшебство — и вы получите то, что происходит с людьми прямо сейчас, в любой точке мира, где идёт война и кто-то ждёт кого-то дома.

Поэтому я не стала писать перевод. И не стала писать «пересказ для школьников». Я написала роман. И да, здесь нет гомеровской традиции, но...

В этом романе Одиссей — не бронзовый герой с картинки, а человек, который устал. Он возвращается с войны, и война продолжает жить внутри него. Он умеет убивать, умеет лгать, умеет выживать — и почти разучился быть просто мужем и отцом. Пенелопа — не просто верная жена, а женщина, которая ведёт свою собственную войну: без меча, без союзников, с одним только терпением и хитростью. Телемах — не просто «сын героя», а двадцатилетний парень, который устал быть тенью отца, которого никогда не видел.

Боги и чудовища здесь есть. Циклоп, сирены, Сцилла и Харибда, Калипсо, Аид — всё это осталось. Но показано иначе: не как декорации для подвигов, а как вещи, с которыми герой сталкивается не в мифе, а в жизни. Чудовище не всегда то, что ест людей. Иногда чудовище — это тишина в доме, который больше тебе не принадлежит.

Если вы никогда не читали Гомера, вы сможете читать эту книгу как самостоятельную историю — о войне, возвращении, любви и мести. Если вы знаете «Одиссею» хорошо, вы увидите, как древний сюжет дышит в современных ритмах, не теряя ни одного ключевого поворота.

Я не пыталась «осовременить» Гомера в смысле антуража: здесь по-прежнему бронзовый век, оливковые рощи, каменные дворцы, корабли с вёслами и парусами, Зевс, гостеприимство, клятвы на воде Стикса. Но язык, которым говорят герои, — это наш язык. Их боль, их страх, их надежда — это то, что понятно каждому.

Эта книга писалась с уважением к первоисточнику и с любовью к тем, кто ждёт.

Если после её прочтения вы захотите открыть «Одиссею» Гомера — значит, всё получилось.

Приятного чтения, ваш автор

Наталия Голд.

Песня, ставшая миром:

Гомер, его эпосы и тайна, которой три тысячи лет

I. Слепой старик на берегу вечности

Вечер, костёр на ветру, окраина греческого города — Хиос это или Смирна, сегодня уже никто не скажет наверняка. Человек берёт в руки лиру. Он слеп, глаза давно погасли, но по

преданию именно из этой темноты рождались войны, морские бури и боги, спускающиеся с Олимпа. Гексаметр льётся размеренно, как прибой, и, кажется, не может кончиться.

Этого человека две с половиной тысячи лет называют Гомером.

Мы знаем о нём одновременно всё и ничего. Он был слеп. Он странствовал. Он пел — так утверждает традиция. За право называться его родиной спорили семь городов: Хиос, Смирна, Колофон, Афины, Аргос, Итака, Родос. Семь городов — и ни одного доказательства: ни надписи, ни документа, ни строчки, написанной его рукой.

При этом на его имени держится «Илиада» — пятнадцать тысяч строк о гневе одного человека, изменившем ход войны, — и «Одиссея», двенадцать тысяч строк о десятилетнем пути домой. Вся западная литература выросла на этих двух текстах, авторство которых наука не может подтвердить до сих пор.

Это и есть гомеровский вопрос — пожалуй, самое долгое расследование в истории филологии. Началось оно не в античности, а в 1795 году, в кабинете немецкого профессора.

* * *

II. Человек, который осмелился усомниться

Фридрих Август Вольф читал «Илиаду» не как почитатель, а как хирург — медленно, вдумчиво, с карандашом в руке. То, что он видел, не складывалось.

Одни и те же описания — щиты, корабли, рассветы — всплывали снова и снова, будто текст был собран из готовых кусков. Стилистические скачки. Логические трещины. Мелких нестыковок было слишком много, чтобы списать их на усталость одного автора.

Свои выводы Вольф изложил в книге «Prolegomena ad Homerum» — «Введение к Гомеру». В ней он произнёс то, что до него боялись сказать вслух: Гомер не писал свои поэмы. Он не садился за стол, не брал перо — в его эпоху, возможно, ещё не было даже алфавита. Эпосы жили в воздухе, в голосах бродячих певцов, передававших их из уст в уста поколение за поколением: меняя, дополняя, забывая и вспоминая заново. А спустя века кто-то собрал эти разрозненные песни и записал — не автор, а редактор, сшивший лоскутное одеяло и назвавший его цельным полотном.

Реакция была бурной. Весь девятнадцатый век филологи провели, разделившись на два лагеря. Аналитики шли за Вольфом: препарировали текст, искали швы, доказывали, что «Илиада» — не поэма, а мозаика из разных рук. Унитарии верили в единого гения: один голос, один замысел, один человек, увидевший всё целиком. Повторы, говорили они, — не ошибки, а ритм; вариации — не следы разных авторов, а дыхание живого исполнителя.

Спор тянулся почти полтора века. Точку в нём — хотя и не совсем ту, которую ждали, — поставили в 1933 году два американца, севшие на пароход в Югославию.

* * *

III. Гусяры и формулы: как Парри и Лорд нашли ответ в горах Балкан

Милман Парри был молод, амбициозен и одержим одной идеей: гомеровские формулы — «быстроногий Ахиллес», «розовоперстая Эос», «виноцветное море» — казались ему скорее инструментом, чем украшением, техническим решением сродни молотку в руке кузнеца.

Логика была простой. Гексаметр — жёсткая метрическая рамка из шести дактилических стоп. Чтобы заполнять строку на ходу, певцу нужны слова точной длины и ритма — и формулы решали эту задачу. «Быстроногий Ахиллес» — готовый метрический блок, вставляемый в строку без раздумий. Эпитет «хитроумный» при имени Одиссея работает так же — деталь, встающая на нужное место, как элемент пазла.

Доказать это на бумаге было нельзя, требовались живые свидетели. Парри нашёл их вместе с учеником, Албертом Лордом: они приехали в Боснию и Герцеговину, где в горных деревнях ещё жили гусяры, слепые и зрячие певцы, исполнявшие поэмы о Косовской битве и Марко Кралевиче. Эти люди были неграмотны и никогда ничего не записывали — и тем не менее

пели тысячи строк заново при каждом исполнении, не повторяя слово в слово, но сохраняя структуру, ритм и формулы.

Парри и Лорд записывали их на фонограф, сравнивали записи между собой и с текстом Гомера — и находили те же формулы, те же сюжетные блоки, ту же живую, дышащую, но не рвущуюся ткань повествования. Открытие было сравнимо по значению с расшифровкой Розеттского камня. Оно не доказало, что Гомера не существовало. Оно показало, как вообще мог работать поэт без пера и бумаги: не записывая поэму, а строя её заново из готовых блоков — в реальном времени, перед живой аудиторией, под треск костра и шум моря.

* * *

IV. Анатомия песни: как устроен эпос изнутри

Чтобы понять Гомера, стоит перестать читать его как книгу и начать слушать как песню.

Гексаметр — не просто размер, а двигатель: шесть дактилей, длинный-короткий-короткий, как удары сердца, не дающие певцу сбиться и ведущие его вперёд, словно рельсы поезда. Внутри этого ритма формулы работают как шпалы — «сын Пелея», «богоравный», «меднодо-спешный»: опоры, каркас, на котором держится строка.

Есть и более крупные единицы — целые сценарии, готовые темы, которые певец мог вставить куда угодно. Тема «вооружения героя»: встаёт, надевает поножи, берёт щит, шлем, копье — этот блок годится для любой битвы. Тема «пиршества»: ставят столы, несут мясо, наливают вино — работает и в лагере ахейцев, и во дворце Алкиноя. Певец не изобретал сцену заново каждый раз, а выбирал из репертуара, примерно как музыкант выбирает аккорды.

Важная оговорка: это не был конвейер. Исследования показывают, что около трети текста «Илиады» состоит из уникальных, неформульных выражений. Певец не просто собирал пазл — он говорил, и в рамках традиции находил место для собственного голоса, гнева или нежности. Традиция давала язык. Что сказать на этом языке, решал он сам.

Здесь и возникает главный вопрос, который не даёт покоя уже три тысячи лет.

* * *

V. Был ли Гомер?

Античность не сомневалась: Гомер существовал. Слепой, бедный, бродячий, учивший детей в школе на Хиосе, ослепший и умерший на острове Иос — так рассказывал Псевдо-Геродот в своей «Жизни Гомера», тексте, который сегодня читают скорее как роман, чем как документ.

Честный ответ современной науки куда скромнее. Был ли это один человек — неизвестно. Не исключено, что «Илиаду» и «Одиссею» создали два разных мастера. Не исключено и то, что за именем стоят два десятка поколений певцов, каждый из которых добавил свою строку. Есть даже версия, что «Гомер» — не имя человека, а нечто вроде бренда, как «Шекспир» для елизаветинского театра: не подпись автора, а знак качества.

Зато кое-что известно точно. Язык обоих эпосов поразительно единообразен: одна и та же система формул, один и тот же ионийский диалект с эолийскими вкраплениями, одно и то же видение мира, одна и та же этика и печаль. Это говорит в пользу того, что за каждой поэмой стоял один мастер, а не толпа компиляторов.

Но этот мастер не был «автором» в привычном смысле. Он не сидел за столом и не редактировал рукопись — он стоял перед людьми и говорил, и поэма рождалась заново в момент исполнения, а вместе с последним звуком умирала, чтобы на следующий вечер родиться снова: той же и одновременно другой.

Может быть, «Гомер» — имя певца, доведшего традицию до предела: собравшего всё, что копилось веками, в конструкцию настолько цельную, что она перестала быть просто песней и стала миром. Однозначного ответа наука не даст никогда. В этом есть горькая и по-своему честная красота.

* * *

VI. Мир, в котором родилась песня

Время и место, в которых родилась песня, тоже стоит назвать прямо: восьмой век до нашей эры, Греция только выходит из четырёхсотлетней тьмы. Микенские дворцы разрушены, письменность забыта, города заброшены — и вот тишина заканчивается. Корабли снова отходят от берегов, греческие колонисты расселяются на восток, запад и север; ионийцы оседают на побережье Малой Азии, там, где сегодня Турция. В этих портовых городах, пропахших смолой и солёной водой, где смешиваются языки и песни разных племён, и рождается эпос.

Эпоха формирует полис — город-государство, где свободные граждане собираются на агоре и решают судьбу сообщества сообща. Аристократы ещё правят, но уже чувствуют дыхание перемен; личный подвиг и личная честь становятся главными ценностями — именно об этом и поёт певец: об Ахилле, выбравшем славу вместо долгой жизни, и об Одиссее, выбравшем дом вместо бессмертия.

Сам эпос смотрит назад — на Троянскую войну, микенских царей, бронзовые щиты и колесницы, — но говорит о настоящем: о том, что значит быть человеком в мире, где боги капризны, судьба жестока, а слава — единственное, что остаётся после смерти.

Именно в этом мире, в восьмом-седьмом веках, один певец — или целая династия певцов — доводит устную традицию до такой высоты, что она перестаёт быть развлечением у костра и становится основой образования, языком культуры, общей памятью для всех греков от Афин до Марселя.

* * *

VII. Как песня стала книгой

Последний акт этой истории разворачивается в шестом веке до нашей эры, в Афинах. Тиран Писистрат, по складу ума политик и строитель, а не поэт, понимает: эпос — не просто развлечение, а клей, скрепляющий разрозненные греческие племена в единый народ. Пока эпос живёт только в голосах певцов, он остаётся текучим: каждый бард поёт по-своему, каждый город знает свою версию. Писистрату нужен один канонический текст — тот, который будут читать на Панафинейх, главном празднике Афин, и учить наизусть.

Он делает то, чего до него не делал никто: записывает Гомера. Как именно — доподлинно неизвестно. Возможно, он созвал лучших певцов и заставил их диктовать писцам. Возможно, собрал варианты и выбрал лучший. Возможно, просто приказал записать то, что пелось на очередном празднике. Результат в любом случае один: устная песня впервые становится текстом, застывает, перестаёт меняться.

Это одновременно момент смерти и рождения. Живая, дышащая устная традиция на этом заканчивается — а взамен рождается книга, которую можно переписать, увезти, прочитать через тысячу лет на другом конце света.

Спустя ещё триста лет, уже в Александрии, филологи Аристарх и Зенотот проделают ту же работу на новом уровне: сверят рукописи, вычистят ошибки, расставят значки ударений — и создадут тот текст, который в итоге дойдёт до нас. Тот самый, что можно сегодня снять с полки и открыть на первой строке: «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, сына Пелеева...»

* * *

VIII. Послесловие: почему это важно

Три тысячи лет отделяют нас от вечера, когда первый певец открыл рот и запел о Трое. Мы до сих пор спорим: был ли Гомер, один он был или их было много, пел он или писал, существовал или остался мифом.

Возможно, самый честный ответ — тот, что даёт сама традиция: Гомер — не имя, а голос. Голос, звучащий из глубины времён и не стареющий, рассказывающий о гневе и нежности, о войне и о доме, о богах и людях, о том, что значит быть смертным в мире, где всё проходит.

Мы никогда не узнаем, сидел ли на берегу слепой старик с лирой. Но песня жива: она звучит, и каждый раз, открывая «Илиаду» или «Одиссею», мы слышим тот же голос, что звучал у костра на ионийском берегу три тысячи лет назад.

Этого достаточно.

* * *

Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, сына Пелеева...

Гнев, который тысячи ахейцам бедствий соделал...

Много мужественных душ в Аид послал...

И песня продолжается.

Пролог

Во рту поселился вкус соли и крови. Соль была везде: она въелась в трещины на губах, в дёсны, в горло, она сделала язык шершавым и чужим. Одиссей уже не помнил, когда в последний раз пил воду, которая не была бы смешана с морской пеной. Кажется, ещё на Огигии, перед отплытием, он стоял у источника, бывшего из скалы, и пил, запрокинув голову, а Калипсо смотрела на него, скрестив руки на груди. Холодная, сладкая вода текла по подбородку и капала на землю. С тех пор прошла целая жизнь, и теперь единственной влагой, которую получало его тело, была солёная взвесь, летящая с гребней волн.

Шторм налетел без предупреждения, как всегда налетает шторм в открытом море: только что небо было затянуто ровной серой пеленой, и вдруг горизонт потемнел, налился чёрным, и ветер ударил в плот, словно кулак. Одиссей успел привязать себя к центральному бревну обрывком плетёной лозы, той самой, которую он три дня крутил на Огигии, сидя на белом песке под палящим солнцем. Калипсо дала ему бронзовый топор. Она вынесла его из пещеры молча, держа за лезвие, протягивая рукоятью вперёд, и он помнил, как пальцы сомкнулись на тёплом от солнца металле. Он рубил деревья, обтёсывал стволы, связывал их лозой, и ладони покрылись смолой, которая не отмывалась даже морской водой. Он построил этот плот за три дня, а теперь смотрел, как волны разрывают его на части.

Связки лопались одна за другой с сухим треском, который был слышен даже сквозь вой ветра. Одиссей лежал на бревне, прижавшись к нему грудью, и чувствовал, как древесина вибрирует от ударов. Левая рука онемела: он слишком долго держался ею за край, и теперь пальцы не слушались. Он смотрел на них: белые, сморщенные от воды, с обломанными ногтями. Четыре пальца и большой. Когда-то эти руки держали меч, лук, весло, грудь Пенелопы. Теперь они превратились в два куска мёртвого мяса, которые отказывались подчиняться.

Он перестал молиться ещё в первый час шторма. Слова рассыпались, путались, он не мог вспомнить ни одного обращения, ни к Зевсу, ни к Посейдону, ни к кому-то ещё из тех, кто, возможно, наблюдал сейчас за ним с высоты Олимпа. Он пробовал произнести имя отца, но выходило что-то невнятное, похожее на кашель. Лаэрт, наверное, уже умер. Двадцать лет — долгий срок для стариковских костей, а отец был стар уже тогда, когда сын уходил на войну. Одиссей вдруг поймал себя на мысли, что не помнит отцовского лица: только седую бороду и руки с набухшими венами, лежащие на посохе.

Новая волна подняла обломок плота почти вертикально, и он соскользнул в воду. Холод оказался сильнее, чем он ожидал. Не тот холод, какой бывает у берегов Фракии зимой, когда немеют ступни и хочется выть, а ледяной, пронзительный холод открытого моря, от которого сердце пропустило удар, а потом забилося часто-часто, пытаясь согреть тело. Одиссей открыл глаза под водой. Мутная зелень. Обломки плота уходили вниз, в темноту, медленно вращаясь. Его хитон, жалкий кусок ткани, который дала Калипсо, набух и тянул ко дну. Он рванул его, высвобождаясь, и лёгкие обожгло огнём.

Он вынырнул. Вдохнул. Вода попала в горло, и он закашлялся, извергая соль и жёлчь. Рядом проплывало бревно, самое крупное, центральная мачта плота. Он ухватился за него

обеими руками, прижался грудью и просто держал. Древесина была скользкой от водорослей, но он держал. Просто держал. Просто ждал.

Время перестало существовать. Он больше не считал волны, не следил за небом, не думал о том, сколько прошло: час или целая ночь. Он только дышал. Каждый вдох был победой, каждый выдох — маленькой смертью, потому что за выдохом мог не последовать новый вдох. Когда волна накрывала его с головой, он задерживал дыхание и считал до десяти. Если досчитаешь до десяти, ещё поживёшь. Если нет, значит нет. Он досчитывал до десяти снова и снова, и каждый раз это было как заново рождённое обещание.

Потом небо начало светлеть. Шторм не утих, но ветер повернул, и тучи пошли рваными клочьями, открывая полосы серого предрассветного неба. В одной из таких полос мелькнул берег. Сначала Одиссей не поверил себе: он уже видел берега, которые оказывались гребнями волн, и острова, которые на поверку были всего лишь облаками. Но этот берег был настоящим. Скалы, чёрные и острые, похожие на зубы мёртвого зверя, и узкая полоска песка между ними.

Бревно несло прямо на камни. Одиссей попытался грести ногами, но тело не слушалось: мышцы свело холодом, и он лишь беспомощно болтал конечностями в воде. Оставалось только ждать удара. Удар был сильным. Бревно врезалось в скалу, его швырнуло вперёд, и он успел выставить руки. Пальцы нащупали скользкий, обросший водорослями камень, ободрались о ракушки, но удержали. Волна ударила в спину, пытаясь оторвать его от камня, и он вцепился крепче, чувствуя, как ногти ломаются о камень. Он полз медленно, сантиметр за сантиметром, подтягивая тело на одних руках, потому что ноги всё ещё не работали.

Камень кончился. Под ладонями оказался песок, крупный, серый, с острыми осколками ракушек. Он выполз на берег, и последняя волна лизнула его ступни, пытаясь утянуть обратно. Не вышло. Одиссей лежал лицом в песок и дышал. Песок пах солью, водорослями и чем-то ещё, сухим, земляным, давно забытым. Запах земли. Запах жизни.

Он лежал неподвижно. Мелкие ракушки впивались в щёку, но он не чувствовал боли, только усталость. Огромную, накрывающую с головой усталость, которая была сильнее любой волны. Вода подкатывала к его ладони и уходила обратно, оставляя на пальцах белую пену. Пена лопалась с тихим шипением. Он смотрел на неё, не в силах отвести взгляд. Человек, который пережил Троянскую войну, ослепил циклопа, спускался в царство мёртвых и семь лет был пленником богини, лежал на незнакомом берегу и смотрел, как лопается пена.

Потом его вырвало морской водой. Долго, мучительно, с жёлчью. Он перевернулся на бок, чтобы не захлебнуться собственной рвотой, и увидел небо. Оно было серым, низким, тяжёлым, но там, на востоке, за скалами, пробивалась узкая полоска света. Розоватая, почти золотая. Рассвет.

Одиссей закрыл глаза. Веки были тяжёлыми, как камень, и он не стал бороться. Сознание уходило, как вода уходит в сухой песок: медленно, неотвратно, без сопротивления.

Перед тем как провалиться в темноту, он увидел женское лицо. Узкий подбородок. Глаза — он уже не помнил точно, серые они или зелёные, но помнил их выражение, спокойное и внимательное. Волосы, убранные под платок. Пенелопа. Он попытался произнести её имя, но губы не двигались.

И ещё он подумал, мельком, обрывком угасающего сознания, что Зевс Гостеприимец, должно быть, всё-таки есть. Море забрало всех его спутников. Его одного оставило. Он не знал зачем.

Темнота.

Часть I. ТЕРЕМ



Глава 1. Шум пира
Звук просачивался сквозь камень.

Пенелопа давно научилась различать его оттенки. Гул голосов ещё не опасен, это просто пьяные разговоры, которые сливаются в сплошной шум, похожий на жужжание пчёл в старом улье. Смех смотря какой. Короткий, лающий смех Антиноя означал, что он в хорошем настроении и никого не тронет. Высокий, захлёбывающийся смех Эвримаха всегда звучал фальшиво, даже когда он был трезвым. А вот когда смех стихал и наступала тишина, Пенелопа начинала считать. Если тишина длилась дольше десяти ударов сердца, что-то случилось. Драка? Кто-то сказал лишнее? Или просто допили вино и ждут, пока слуги принесут ещё?

Она сидела в своих покоях на втором этаже, у окна, выходящего во внутренний двор. Отсюда не было видно пиршественного зала, но звук долетал через открытую галерею, отражался от каменных стен, проникал в щели дверей. Когда-то в этих покоях было тихо. Здесь звучал только голос Одиссея, тогда, когда он рассказывал ей о походе, в который не хотел идти. «Менелай придёт за мной, — говорил он, стоя у этого самого окна. — Он всегда приходит за теми, кто должен ему. А я должен ему клятву».

Клятву. Одно слово, которое сломало её жизнь.

Пенелопа встала и подошла к станку. Он стоял в углу, массивный, из потемневшего от времени дуба, с натянутой основой. Ткань была уже почти закончена: широкое полотно сероватого оттенка, с вытканым по краю узором из спиралей и волн. Погребальный покров для Лаэрта. Старик был ещё жив, но Пенелопа начала ткать его три года назад, и за это время ткань успела бы обернуть его тело четырежды. Каждое утро она садилась за станок и ткала до полудня, пока пальцы не начинали неметь. А каждую ночь, когда женихи засыпали пьяным сном, она пробиралась в покои с масляной лампой и распускала сделанное за день.

Сначала это давалось легко. Она выдёргивала уточную нить ряд за рядом, и к утру ткань становилась такой же, как вчера. Месяц проходил за месяцем, год за годом, а покров не рос. Женихи злились, но верили, точнее, хотели верить. Им было удобно ждать. Еда и вино лились рекой, а перспектива делить власть над островом казалась достаточно близкой, чтобы не торопиться. Они не знали, что царица каждую ночь распускает свою работу. Знала только старая Эвриклея, которая приносила ей лампу и молча стояла у двери, пока госпожа работала, и ещё две служанки, которые помогали носить пряжу. Все трое молчали, и все трое понимали, что случится, если тайна выйдет наружу.

Сегодня Пенелопа не притронулась к челноку. Она стояла у станка и смотрела на ткань, но мысли были далеко: внизу, в пиршественном зале, куда только что спустился её сын. Телемах. Её мальчик. Двадцать лет. Он родился за несколько месяцев до того, как Одиссей уплыл, и теперь был выше неё на голову, но в глазах всё ещё мелькало что-то детское, что-то обиженное, как у щенка, которого не пускают в дом. Она слышала, как он спустился в зал говорить с женихами. Добром это не кончится, можно было не гадать.

Гул голосов стал громче. Кто-то засмеялся, коротко, лающе. Антиной. Потом наступила тишина, и в этой тишине раздался голос Телемаха. Слов было не разобрать, но тон, высокий, срывающийся, сказал ей больше любых слов. В нём была злость и что-то ломкое под ней: крик, который силился звучать как требование.

Тишина длилась шесть ударов сердца. Потом зал взорвался хохотом. Пенелопа закрыла глаза. Она представила, как Телемах стоит посреди пиршественного зала, сжав кулаки, а вокруг него сто двенадцать взрослых мужчин, которые хохочут, хлопают ладонями по столам, разливают вино. Которые знают, что он ничего не может им сделать. Которые завтра будут так же жрать его мясо и пить его вино, а послезавтра тоже, и через месяц тоже, пока не кончится еда или пока один из них не наденет корону Итаки.

Она снова села у окна. Внутренний двор был пуст, только старая олива, посаженная ещё прадедом, тянула к небу корявые ветви. Под оливой спала собака, старая сука, которую Телемах подобрал щенком лет пять назад. Собака дёргала лапами во сне, и Пенелопа позавидовала ей. Спать и не слышать этот шум. Спать и не знать, что твой дом превратился в хлев. Женихи,

которые днём и ночью пируют в её доме, нарушают священный закон ксении, тот самый закон, который велит гостю быть почтительным, а хозяину щедрым. Они гости только по названию. На деле они хуже пиратов, потому что пираты хотя бы не притворяются друзьями. Но она ничего не могла сделать. Пока она не выберет мужа, у них есть формальное право сидеть за её столом. А выгнать гостя, даже такого гостя, значит самой нарушить закон Зевса.

Дверь скрипнула за спиной, и Пенелопа вздрогнула.

— Это я, госпожа.

Голос был старый, надтреснутый, но твёрдый. Эвриклея. Когда-то она нянчила Одиссея, потом Телемаха, а теперь стала кем-то вроде тени, которая всегда рядом, но никогда не путается под ногами. Она вошла в покои с кувшином в руках и поставила его на низкий столик у двери.

— Вода с розмарином, — сказала она. — Ты опять не ела.

Пенелопа покачала головой.

— Я не голодна.

— Ты не голодна уже три года. — Эвриклея подошла ближе, шаркая ногами по каменным плитам. — С тех пор, как они пришли.

Старуха остановилась рядом с Пенелопой и посмотрела в окно, хотя смотреть там было не на что. Они стояли молча, две женщины, одна старая, другая ещё не старая, но уже переставшая быть молодой, и слушали, как внизу, в пиршественном зале, женихи требовали новую порцию жаркого.

— Телемах спустился к ним, — сказала Пенелопа.

— Я слышала.

— Они опять будут смеяться над ним.

— Да, — просто сказала старуха. — Будут.

Пенелопа повернулась к ней. В полумраке покоев лицо Эвриклеи казалось вырезанным из старого дерева: такие же глубокие морщины, такие же тёмные тени.

— Иногда я думаю, что он не вернётся, — сказала Пенелопа. — Что я зря всё это делаю. Ткань, ложь, ожидание. Может, проще было выбрать одного из них ещё десять лет назад и закончить этот цирк.

Эвриклея ничего не ответила. Она подошла к станку и провела сухой ладонью по натянутым нитям.

— Знаешь, — сказала она, не оборачиваясь, — когда Одиссей был маленьким, он боялся темноты. Каждую ночь просыпался и кричал, пока я не приносила лампу. Он говорил, что в темноте живут чудовища.

— Я не знала этого, — сказала Пенелопа.

— Он никому не рассказывал. Даже матери. — Эвриклея убрала руку с ткани и повернулась к царице. — А потом, когда ему было двенадцать, он пошёл охотиться на кабана. Один. И убил его. И с тех пор никогда не зажигал лампу на ночь.

Пенелопа хотела что-то сказать, но шум внизу изменился. Смех стих, голоса стали громче, напряжённее. Кто-то что-то крикнул, она не разобрала слов, но тон был угрожающим. Потом послышались шаги, быстрые, тяжёлые, поднимающиеся по лестнице.

— Телемах, — сказала Пенелопа.

Она подошла к двери и приоткрыла её. В коридоре было темно, только внизу, у подножия лестницы, горел факел. Шаги приближались, и через несколько мгновений она увидела сына. Он поднимался по лестнице, опустив голову, и плечи его вздрагивали, не то от гнева, не то от слёз. Пенелопа шагнула в коридор.

— Телемах.

Он остановился. Поднял голову. Глаза были красные, но сухие.

— Я говорил с ними, — сказал он. Голос звучал глухо. — Я потребовал, чтобы они покинули наш дом. Они засмеялись. Антиной сказал, что у меня ещё молоко на губах не обсохло.

— Иди сюда, — сказала Пенелопа.

Он не двинулся.

— Эвримах сказал, что я могу остаться, если хочу. Как шут. Он бросил мне кусок хлеба и сказал: «Сиди в углу и не мешай взрослым».

Пенелопа ничего не ответила. Она стояла в дверях, глядя на сына, и молча стиснула в кулаке край хитона. Она хотела сказать ему, что всё будет хорошо. Хотела соврать, как врала ему все эти годы, пока он рос: что отец вернётся, что справедливость восторжествует, что боги не оставят их. Но слов не было. Она слишком устала врать.

Телемах посмотрел на неё. Мгновение они стояли молча, мать и сын, разделённые полумраком коридора, а снизу доносился смех.

— Я найду корабль, — сказал он. — Я поплыву и узнаю, что случилось с отцом. Жив он или мёртв. Я больше не могу сидеть и слушать, как они ржут.

— У тебя нет корабля, — сказала Пенелопа.

— Я найду.

Он повернулся и пошёл дальше по коридору, в свои покои. Пенелопа смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом, и думала о том, что её сын только что впервые заговорил как мужчина. Это пугало её больше, чем женихи, больше, чем двадцатилетнее ожидание, больше, чем всё остальное. Мужчины уходили из её жизни. Сначала Одиссей, теперь Телемах.

Она вернулась в покои и закрыла дверь. Эвриклея всё ещё стояла у станка.

— Распускать? — спросила старуха.

Пенелопа посмотрела на ткань, на сероватое полотно с узором из спиралей и волн. Дневная работа: несколько сотен рядов, сотканных за часы, пока солнце ползло по небу.

— Нет, — сказала она. — Сегодня — нет. Пусть полежит. Может, я умру раньше, чем закончу.

Эвриклея поджала губы, но ничего не сказала. Она взяла кувшин, из которого Пенелопа так и не притронулась к воде, и тихо вышла. Дверь закрылась. В покоях стало тихо, и только далёкий гул из пиршественного зала напоминал о том, что дом больше не принадлежит ей. Пенелопа села у окна и стала смотреть, как над оливой сгущаются сумерки. Собака во дворе проснулась, зевнула и перевернулась на другой бок. Где-то далеко, за морем, солнце садилось в воду, окрашивая волны в цвет разбавленного вина. Жив ли муж, удержит ли сына под этой крышей, или он тоже уйдёт в море, как уходят все мужчины в её жизни, она не знала. Знала одно: завтра снова сядет за станок. Потому что больше ей ничего не оставалось.

* * *

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.